

ПОД ВЫСОКИМ КРЕСТОМ

Иван Атарщиков – молодой колхозный пастух, на Красные яры попал, не желая того, каким-то, видно, наркомом. Как всегда, лихо мчался он на своём мотоцикле от скотьего лагеря, напрямую, домой, в станицу, но не свернул возле Братякина кургана, а покатил вниз и лишь потом опамятовал, но решил не возвращаться, а проехать дорогой нижней, возле Красного яра. Крюк невеликий, а свой след топтать – плохая примета.

Красный яр – это высоченные глинистые обрывы. Между ними и речкой – дорога. По ней и мчался. И вдруг резко затормозил. Белое облако меловой дорожной пыли, догнав, накрыло мотоцикл с коляской и седока.

Рядом с дорогой земля была непривычно изрыта, взбуровлена: просторные, но неглубокие, в колено, ямы; сухие, каменистые комья, отвалы. И людские останки: тонкие рёбра, берцы, оскаленные черепа, ломаные и целые; сопревшие сапоги, какие-то тряпки, лоскутья.

Прежде, ещё недавно, здесь была лишь степь, рядом – речка и посеревший от времени жердевый восьмиконечный крест, памяти знак о погибших солдатах.

Теперь же... Надругание над прахом, Божья страсть.

Молодой пастух с мотоцикла слез, подошёл ближе к раскопу, к останкам людским.

– Сволочи... Гады... – вслух, громко проговорил он и огляделся, словно рядом были те, кого ругал.

Но вокруг лежала пустая степь, рядом – наезженная дорога. И всё.

А ругать нужно было в первую голову самого себя. Это он виноват, болтун языкатый. Только он. А уж потом – другие.

Тёплым, а на припёке жарким солнечным днём в начале сентября на высокий курган в далёком степном Задонье поднималась процессия невеликая. Впереди быстро шёл молодой парень в лёгкой одежде, за ним послушно, след в след – две собаки: тоже молодой, поджарый кобель, виду овчаристого, в гладкой светло-каштановой шерсти, по кличке Тузик, и мать его, лохматая Жулька с высунутым языком.

Поднялись на курган, с которого открывался вид просторный, на многие вёрсты: огромный распах долины, на дне которой невеликая речка, по берегам её – зелёная урема деревьев.

Молодой парень, пастух, не степные пейзажи оглядывал.

Поодаль, обтекая подножье кургана, неторопливо спускался вниз, к речке, немалый гурт скота. Могучие, породистые абердины, жуково-чёрные, сияющие под солнцем, неспешно,

медленной рекой текли среди яркой желтизны высоких трав. Живая скотья река растянулась. Неторопливо, нежадно пасясь, первые животные уже спустились в долину и возле старых груш отдыхали да сладко чесались, сотрясая корявые стволы и просторные кроны. А по ложбинам – там и здесь – тянулись быки да матки с телятами. И даже далеко наверху видны были отставшие.

Молодой пастух оглядывал своё немалое стадо. Старая Жулька прилегла у него в ногах. Тузик застыл, переводя взгляд от хозяина на отставшую скотину.

– Ну чего тебе? – усмехнувшись, спросил пастух. – Не терпится? Не набегался? Придут. Никуда не денутся. Хочется?

Тузик сдержанно взвизгнул от нетерпения.

– Занудился, тогда давай... Сбей! – приказал он не столько голосом, но рукой и перстом, и Тузик помчался на упругих сильных ногах. Жулька лишь вздохнула, сетуя ли на него, завидуя ли молодому задору.

Просторная холмленная округа была безлюдна. Здешние земли теперь не пахались, не сеялись, и скотины в колхозе осталось немного – лишь этот гурт, и потому гул машинный – что на земле, что в небе – раздавался редко. Зимой городские охотники порой колесили. А летом да осенью – глухая тишь. Лишь ветер шелестит сухими травами. И всё.

Голос ещё невидимой, далеко бегущей машины пастух и старая Жулька услышали вместе и стали глядеть: кто там и зачем?

Машина была легковая и не колхозная: кургузый зелёный «козёл». Она пробиралась дорогой почти неезженной откуда-то от Дона, со стороны Большого Набатова, одного из последних хуторов округа. Колхозные: председатель да зоотехник ездили другим путём, напрямую от станицы.

Машина сначала подъехала к речке, потом к пустому скотьюму стойлу с жердевой огорожей, наведалься к старому кладбищу, последнему знаку когда-то здесь бывшего хутора. Одним словом, блукала. Пока не увидела скотину, а потом пастуха на кургане. И тогда устремилась к ним.

Проворный Тузик обученно облетел по степи просторное полукружье, собирая и сбивая в кучу отставшую скотину. Неторопливо к дороге, к своему гурту и подъехавшей машине начал спускаться молодой пастух.

Внизу его ждали два тоже молодых, крепких мужика в таких привычных теперь пятнистых одеждах; то ли это военная форма, то ли дёшево и удобно: брюки, куртки, кепки и даже майки пятнистые; на рукавах вроде воинские знаки.

– Здорово живёшь, казак! – весело встретили хозяина гости неожиданные.

– Слава Богу, – сдержанно ответил молодой пастух.

– Твоя, что ль, скотина?

Тушистые породистые абердины, приземистые, кормленные, светили под солнцем жуковой шерстью.

– Больше пяти центнер, – на глаз прикинули приезжие... – А вон тот на тонну потянет. Танки, не скотина... Твои, что ль?..

– Ну да... – усмехнулся пастух. – Какие мои, колхозные.

– О... Колхоз ещё живой?..

– Живой...

Молодому пастуху разговоры о скотине не очень понравились. Он решил поскорей их закончить и на всякий случай оборониться от людей неизвестных.

– По этому делу, по скотине, разговаривайте с председателем. Не перевстрели его?.. На красной «Ниве» он здесь мыкается. А лучше поезжайте к чеченам, на Набатов, на Осиновку. У них своя скотина, собственная. Там дело верней.

– Не надо нам скотины. Мы совсем по другому делу, – успокоили пастуха приезжие. – Мы из группы «Поиск». Слыхал про таких? Мы ищем места захоронения солдат. Будущий год юбилейный, шестьдесят лет Победы. Вот мы и занимаемся. В войну ведь кое-как хоронили. Свалят в яму – и всё. А мы находим такие места. Вскрываем. Бывает, что солдат числится без

вести пропавшим, а мы определяем. По документам, по медальону. Письма иногда остаются. А уж потом останки на кладбище или в братскую могилу. Но уже как полагается: оркестр, памятник, венки. Слышал про такие дела?..

– Вроде, слышал. Вы что, вдвоём копаете?

– Нет. Мы сначала ищем. Спрашиваем у местных жителей. Что и где. У стариков. Они же помнят. Где в войну хоронили и как. Ты вот пасёшь. Здешние места знаешь. Может, где видел старые могилки?

– Они по всему хутору, эти могилки, – ответил пастух и повёл рукой, указывая. – Кроме могилок ничего и не осталось.

И вправду летние скотьи базы располагались посредине когда-то большого хутора Горюшкин.

От него остались теперь лишь заплывшие ямы, грушевые деревья да могилы. Покойников хоронили в старые годы не на общем кладбище, а на своих левадах. Могилки, кресты, а порою надписи и теперь были целы от балки Сухая Голубая и до Ситникова переезда, на целый десяток вёрст.

– Нет... – отмахнулись приезжие – Нам другое надо: военные захоронения.

Посвист крыл и громкое «ки-ки-ки!» раздалось вдруг, и с неба на людей словно упала рыжепёрая птица.

В последний миг она распустила мягкие крылья, опавшим тёплым ветром и приезжих испугав. Птица остановилась в полёте и ловко уселась на плечо молодому пастуху. Это был кобчик в коричневом оперенье крыл и с полосатой, словно в тельняшке, грудью.

– Вот это да... – удивились гости. – Твой?

– Это уж точно мой, не колхозный, – подтвердил хозяин и птице сказал: – Погоди. Сейчас покормлю.

Кобчик понял его, стал ждать, дремотно прикрыв плёной жёлтые глаза.

Молодой пастух ещё раз оглядел приезжих, перевёл взгляд на их машину, номер её поглядел, потом спросил:

– А сами-то откуда?

– Из города.

– Ясно... Тут много людей побито. Сорок второй год. Летом три дивизии из окружения, считай, не вышли. А осенью выбивали немцев. Тоже полегло. Танковое поле, Солдатское поле, Набатовские колодезя, балка Трофеи, Красные яры, Майор. Там даже кресты стоят.

– Какие кресты?

– Простые деревянные. А может, погнили уже. Давно их ставили, лет, наверное...

– Погоди, – остановили его, – А ты можешь нам показать эти места?

– Я же не брошу скотину.

– А ты один стережешь?

– Вдвоём, – слукавил пастух. – Но напарник на хутор уехал. Должен к ночи вернуться.

«Ки-ки-ки!» – напомнил о себе рыжепёрый кобчик, ворохнувшись на плече хозяина.

– Погоди, – успокоил его пастух, у приезжих спросив: – Карта у вас есть? На карте я бы отметил.

«Ки-ки-ки...» – протяжно принялась выговаривать птица.

– Замолчи! – повысил голос один из приезжих. – Попка дурак!

Птица смолкла, уставясь на приезжего неморгающим жёлтым глазом.

– Он – не дурак, – заступился хозяин. – Он – сокол, – и быстро завершил разговор: – Давайте карту. Я вспомню, отмечу. А пока... Поглядите у Майора. Над самым Доном, на Прощальном кургане могила, памятник. Майор Кузьминых там похоронен. А возле, ближе к хуторскому кладбищу, там тоже хоронили, бугорки остались. А ещё у Красного яра. Там и немцы, и наши, все вперемешку. Дорога – над речкой, а справа – Красные яры. Мимо не проедешь.

Остроухий Тузик, подогнав отставшую скотину и увидев приезжих, примчался и встал рядом, переводя взгляд с хозяина на гостей: дескать, что это за народ и как к нему относиться?

А хозяин и сам толком не знал.

Гости принесли из машины карту здешних мест, спросили:

– Пойдёт?

– Пойдёт. Подъезжайте завтра. Я вечером погляжу, покумекаю.

Приезжие уже садились в машину, когда молодой пастух окликнул их.

– Если будете копать, – сказал он. – И вдруг... всякое бывает... Вдруг наткнётесь, по документам: Иван Атарщиков.

– Кто такой?

– Я... – засмеялся пастух.

Его не поняли. И он объяснил:

– Иван Атарщиков – мой прадед, воевал и пропал без вести здесь, в этих краях, в районе речки Голубой. Так в извещении было написано. А меня уж по нему называли.

– Теперь ясно. До встречи.

Машина развернулась и покатила той же дорогой, откуда приехала. Молодой пастух, недолго поглядев ей вослед, принялся за дела привычные.

Рыжего кобчика он угостил припасённой ящеркой. Птица, усевшись на крышу вагончика, принялась терзать добычу.

Скотий гурт, как и положено в час полуденный, неторопливо утолял жажду, забредая в воду, чтобы потом отдохнуть в просторной сени старых береговых осокорей.

Пастух, а с ним, конечно же, и легконогий Тузик обошли гурт, обглядели, сбивая скотину теснее к речке, к тени.

– А ты всех собрал? Наверху не остались? – спросил хозяин у Тузика.

Приплясывая на месте, Тузик коротко взвизгнул, словно негодуя.

– Всё понял. Молодец. Отдохни. Но не уходи, будь при скотине. Здесь!

Собака улеглась тут же в тени, подрёмывая, но настороже.

Пастух продолжил обряд ежедневный, привычный.

Утром он вставал рано, на сером рассвете. Скотина лучше пасётся в прохладе, по утреннему холодку, когда не досаждают жара, мошка да овод. Он рано вставал, когда есть ещё не хотелось, и потому успевал проголодаться к поре обеденной.

В невеликом дощатом вагончике стояли газовая плита, холодильник. Спасибо, что электролиния шла через бывший хутор. С холодильником – горя нет: там наготовлено, жена старалась. Лишь разогрей да ешь.

Час обеденный – обряд привычный: поесть, помыть посуду да ещё и вздремнуть недолго, пока скотина отдыхает на стойле. И нынче всё катилось своим чередом. Но из головы не уходило недавнее. Приезжие люди, их заботы не больно понятные: мыкаться по степи, искать покойников. Молодой пастух, конечно, слышал про такие дела: по телевизору говорили, да и своё было, рядом. На кургане Хорошем, недалеко от станицы, тоже копали, потом памятник открывали, с музыкой да салютом. И где-то ещё, вроде в Козловской балке, чуть ли не целый самолёт из земли вытащили.

А что до погибших... Ему ли не знать? Окрестив, его нарекли Иваном по прадеду, который в сорок первом ушёл на войну, а год спустя «пропал без вести» именно здесь, в родной степи, где-то возле дома и возле Дона. «В районе речки Голубой...»

Вот она, эта речка, и ныне течёт: от хутора Большого Голубинского и даже, считай, от Венцов до Набатовского – тридцать с лишним вёрст. А округа – вовсе немереная. В сорок втором году здесь людей полегло – счёту нет.

Учитель истории Прокофий Семёнович о Сталинградской битве, а тем более о сраженьях в своих краях знал всё досконально и ученикам втолковывал: «Историю родных мест надо знать. Франция да Испания – они далеко. А это – наше, родное...» Ходили с учителем в походы «по местам боёв». Музей был в школе, всё – про войну. Он в комнате не умещался. В школьном дворе стояли зенитка, пушка-сорокапятка, миномёты.

И теперь многое помнилось из тех школьных лет: «Донской плацдарм», «излучина Дона», «танковое сражение под Калачом». У немецкого фельдмаршала Паулюса был штаб в станице... Наши 64-я, 62-я, 21-я армии. Танковые – 1-я да 4-я. Три наши дивизии попали в окружение. Тридцать тысяч... А вырвалось лишь пятьсот. Сколько людей полегло... Всё это – здесь.

Дед рассказывал, как мальчишками после войны искали и тащили они что ни попадя. Танков здесь было подбитых, самолётов, орудий – поля и поля, уставленные тяжким железом. Мальчишки искали и находили бинокли, зажигалки, фотоаппараты, полевые сумки, портсигары, галеты, консервы, курево. Искали... А порой находили гибель свою или калечились при взрывах.

Это было давно. Потом битую технику увозили и увозили. Но многое осталось: снаряды, мины, оружие.

Отец рассказывал, как в детстве они баловались. Тоже – винтовки, гранаты, мины... Целые блиндажи раскапывали. И тоже калечились, гибли при взрывах. Детвора, любопытные, тем более – мальчишки...

Даже сейчас, по весне и летом, после хороших дождей, когда размывает косогоры да балки, даже теперь можно сыскать снаряды, и мины, и чего хочешь – любую беду.

Час да другой обеденные проходили быстро. Молодой пастух поесть успевал, а потом даже заснуть: крепко, обморочно, но недолго.

Пора было поднимать скотину с дневного стойла и уводить на пастьбу, теперь уже до ночи.

Осеннее солнце, тёплым жёлтым колобом за полдень перевалив, теперь будет клониться к заречным обрывистым холмам. Скотий гурт через речку, бродом и ископыченной разбитой плотиной перебирается к попасу вечернему. Здесь за ним легче глядеть, на просторных, когда-то заливных лугах. Тут много корму. А могучие тушистые абердины – скотина мудрая, суеты не любит. Лобастая голова – к земле; кормится и кормится. И голоса от неё не услышишь. Разве что глупый телок потеряет мамку, зовёт её и зовёт, пока она не ответит низким, утробным мыком, который слышен далеко, тем более что рядом речка, холмы да курганы, среди которых долго гуляет степное эхо.

Молодой пастух, оставив в низине стадо своё, поднялся взгорьем, остановясь вполкургана, откуда как на ладони был виден неторопливо пасущийся гурт. Речка в зелёном плену деревьев, кустов, прихотливо виляя, уходила вдаль к отсюда невидимому хутору Большая Голубая. До него скакать и скакать. Малая речка, узкая лента зелёных кущ лежали в распахе просторной холмистой долины. От края земли до края.

Люди, даже свои, станичные, сочувствуя пастушьей судьбе, порой говорили: «Там с ума сойдёшь... Один и один, всю неделю». Домашние, мать с отцом, жена, заводили разговор о мобильном телефоне, который теперь у многих.

Но всё это были лишь разговоры людей сторонних. Со скотиной особо не заскучаешь. Гляди и гляди... Отстанет ли, убредёт в какую-нибудь балочку ли, яругу. Волков развелось... Бывает, и днём шалят. Телёнок отобьётся – зарежут. А люди порой не лучше волков. Им не телёнок нужен, а что посерьёзней. Тем более что вокруг теперь не хутора, но аулы. Осиновский да Осинов Лог, Малый Набатов да Большой... Некогда дремать.

Но нынче, в пору осеннюю, когда позади докучная для скотины мошка да овод, можно было собирать шиповник. По отрощьям, на выходе яруг да балок, багровели и пламенели его колючие кусты. Городские, приезжие покупали шиповник по сто рублей за ведро. Если не лениться, то за день меж делом три-четыре ведра наберёшь. Копейка – не лишняя. В колхозе платили две да две с половиной тысячи. Зимой меньше. А жить надо.

Сегодня нашлась ещё одна забота: карта, оставленная приезжими. В ней было всё обозначено: прошлое, нынешнее. Пол. ст., арт., МТФ, кош. – это о прошлом. Вместо полевых станов, кошар да молочно-товарных ферм теперь лишь руины; артезианских колодцев тоже нет. Но осталась речка Голубая – тонкой ниточкой, балки, провалы, урочища: Таловая, Муковнина, Церковный провал да Тёплое – вот оно, рядом и чуть подальше. Сено косить – в Найдёнове,

рыбачить – на Губных, в Лубниках, грибы собирать – на Картулях. Всё здесь: детство, молодость, нынешняя жизнь.

Но теперь нужно припомнить другое. Это было... Лет десять назад или поменее?.. Он тогда в школе учился, в седьмом ли, в восьмом классе. Жили и жили: отец, мать, младший брат и сестрёнка. И бабушка Анеша. Так звали её по-домашнему. По-настоящему – Анна. Это отцу она – бабушка, а ребятам – уже прабабушка. Но... баба Анеша да баба Анеша. Невеликая ростом, сухонькая, но бегучая. Она всех в свой черёд вырастила и вынянчила: детей, потом внуков да правнуков. Жила с семьёй внука, но отдельно, в глинобитной хатке-мазанке, которую когда-то слепила своими руками после войны. Приземистая хатка, с малыми окошками и большой русской печью. Там ей было спокойнее. Когда захочет, приляжет. Всё же возраст: подпирало под восемьдесят. А сколько в тех годах всего было... В службе военной, даже в пору теперешнюю, один год за два считают, а то и за три. А у бабы Анеша?.. Осталась в войну вдовой с тремя малыми детьми. И даже пенсию за мужа ей не платили, потому что – «без вести пропавший». Осталась без мужа и без дома, который забрала война. Слепила своими руками хатёнку, в колхозе работала, кормилась как все: просторным огородом, коровой да тощими колхозными трудоднями.

О своём муже баба Анеша, казалось, уже забыла, даже в молитве вечерней не поминала его, оттого что твёрдо не знала, мёртвый он или, быть может, живой. Были ведь случаи... Плен, потом заграница, а потом вдруг весть из далёкой иной жизни.

В молитвах не поминала. Но хранила в душе робкую память. Только для себя. И, может быть, оттого, что ноша неразделённая даже с Богом для души тяжелей и горше, оттого, наверное, почуввав недалёкий уже жизни конец, баба Анеша словно очнулась. Она стала видеть покойного мужа во сне, говорила близким:

– Ваня мне снится. Сроду не снился, а теперь всякую ночь его вижу. Приходит, просит...

– Чего просит? – спрашивали её.

– Не знаю. Молчит. А по глазам вижу, что просит. И руки вот так протягает ко мне. И слёзы... явственно вижу, слёзы текут.

Баба Анеша мучилась долго и лишь потом догадалась:

– Это он просит креста.

– Какого креста?

– Чтобы отпели и крест поставили. Он ведь в земле лежит, а над ним креста нет. Это – нехорошо. Это – беда бедовая. Все наши родненькие на кладбище, под крестиками лежат. Это – Божий приют. А он словно во грехе. Вот и просит.

– Но где этот крест поставить? – спрашивали её. – Давай поставим на кладбище.

– Так не положено.

– А по-другому как?

Баба Анеша ответить не могла, плакала и лишь потом доумилась:

– Я пойду... Обойду все места, как в бумажке написано... возля речки Голубой. У старых людей поспрошаю. Да и сама – не с телеги упала. Где бои шли и где много людей побило: на Танковом, на Солдатском поле, Набатовские колодезя. Крючьями их сама тягала... Жара... Раздуются... Кого крючьями в окоп да воронку от бомбы, а кого – на месте, лишь прикопаешь. Все ходили: бабы, ребятишки... А они один возля другого лежат... кабы в ту пору знать... Но я обойду все места. На Провалах, на Красных ярах, у Майора – всё обойду. Помолюся, какие смогу, поставлю крестики. И он успокоится. Я пойду... – убеждала она детей. – Все места нашенские, знамые. Пахали там, и скотину пасли, и жили на токах, в гуртах... На Фомин-колодце, на Тёплом, на Ростоши, на Крутоярщине – все наши поля, колхозные, вся жизнь. Костылик возьму и пойду. Пока в силах, надо идти, надо помочь ему... Такая страсть... Руки протягает, глядит... Ка-азня-а-а... – и начинала плакать.

Бабу Анешу все родные любили. Но отпускать её одну, конечно, грех. Старый человек...

Подумали, погадали и снарядили телегу с лошадьё, а в попутчики дали подростка, правнука Ваню, чтобы глядел за бабкой.

Наложили в телегу сенца, постелили полсть, не забыли и харчи да котелок, чтобы полевской кулеш варить. Словом, уважили старого человека.

Для мальчика такая поездка была, конечно же, в радость. Телега, лошадь, новые места, тёплый август. Ехали и ехали. Сначала по Гетману – старинному шляху, потом свернули с него: Калинов колодец, Осипов, могучий прозрачный водопад Фомина-колодца, под которым можно стоять в рост, если удержишься, если водой тебя не собьёт.

А ночевать в степи, на воле не было нужды. Ещё живы были окрестные хутора и старые люди – сверстницы бабы Анеши: баба Дора, старая Праскуня, согнутая коромыслом Махора... У всех была одна судьба: война, горькое вдовство, малая детвора на руках, голод, тяжкая работа в колхозе. Словом, бабья доля. Зоричев хутор да Осинев хутор, Каменный брод да Липов лог... Шумливая Солнечиха, тихая Паранечка... Нынче они так редко видались и потому до слёз были рады встрече.

Заботу старой Анеши они понимали с полслова, отзываясь на неё сердцем и памятью.

– Август месяц, как ныне, самая жара. Немцы пришли, попервах своих хоронили. Два кладбища. Одно – за школой, другое – в куту. Потом велели наших прибрать. А там – страсть... Они мостом лежат, побитые. Окопы, траншеи от Куприяновой балки и на Тонкое, на Колодезя, на Белобочку... Там бои шли страшные. Крючком зацепишь и тянешь в траншею. Воронки были от бомб. Туда много помещалось. А он уж распух, гора горою, всё полопалось, течёт из него, и крючком не удержишь. На месте землёй прикидаешь – и слава Богу. Кто он и чей, Господи прости...

– А в зиму, когда прогнали немцев, и вовсе... И немцы лежат, и наши. А земля чугуная.

– На Малой Голубой закапывали. Траншея была большущая. Клади рядами. А чаканом перекадали, чтоб землёй глаза не засыпало. Вот и всё. Наших, и немцев, и румынов.

– У нас приказывали документы собирать. Красноармейская книжка или шпилька такая чёрненькая, тоже в малом таком кармашке, в штанах. Сбирали. В сельсовете цельный угол наклали. А Самуил Евсеевич, Господи прости, ими печку растапливал. Считай, всё пожёг. Потом кинулись...

– Весной пахали, так пройдем, всех постынем на край, на межу, прикопаем...

– По весне они уж и поклёванные, обгрызенные. Карги где кружат, бригадир посылает: бабы, идите, хучь прикопайте.

– Да разве всех прикопаешь... На Сухой Голубой сено косили, в Сибирьковой балке. Одни кости да черепа.

– А на Красной Дубровке...

– А на Шахане...

– По всему степу... Хлеб убирали, на поле так явственно видно, где упокойные. На этом месте такой хлеб могучий стоит. И колос – в локоть.

Вспоминали. Искали и находили места. Солдатское поле, которое долго не пахалось, там – снаряды да мины да сплошные кости. Танковое поле... Набатовские колодезя... Бывший лагерь военнопленных, там наших солдат перемёрло не считано.

Вспоминали... Ладили и ставили деревянные кресты. Пели:

– Упокой, Господи, и помилуй рабов Твоих Ивана, Михаила, Митрофана, Николая, Фёдора... и всех православных и прости им все прегрешения, вольные и невольные, даруй им...

Потом поминали. И вспоминали прошлое. Через полвека. А так явственно, словно было вчера. И так горько.

– Какую мы игу несли: голод и холод.

– В балке норы повырыли, хоронились. Чакану настелили и жили там.

– Мы на леваде выкопали окоп и плетнём прикрыли. Спасались. Шурка оттуда не вылезал. Как зачнут стрелять да бомбить, плачет: мамка, боюся...

– Зима, как сейчас помню, ранняя была. Ноябрь месяц, а холодно. Из хаты нас сразу выгнали, мы – в кухню. А другие немцы пришли и из кухни выгнали: «Шнель, шнель!..» Мы – в чулан. А из чулана румыны прогнали, их немцы не пускали к себе. Мы в курник, с ребятишками, с мамой...

– Наш хутор дочиста весь скоренили: разобрали дома и увезли, переправу делали через речку для машин, для танков. Вот и остались под белым небом. Казня...

– Детвора... Как галчата, рты разевают: мамочка, исть хотим. Попервах не обвыклись. У нас ведь коровка была, куры, хлеб – в закроме, мука. Первые немцы пришли – лишь: «Матка, млеко, яйки...» А уж следом понаехали на конях, фуры. И всё – под гребло. Скотину забрали. Тут же – бойню устроили, порезали и увезли. Кур переловили, зернецо выгребли. И что хоронили по ямам, на чёрный день, не уберегли. Бендеры такие дотошные, они у немцев были при лошадях. Всё същут. Нашенский штык – он тонкий – на палке. Шарят по сараям, на базах. Тычут в землю. Всё понаходили, всё – под гребло. Хлеб – до зёрнышка, и тряпками не погребовали. Последние кофтёнки да юбчонки забрали. Одно слово – бендеры. И перины, какие были, подушки, одеялки – тоже увезли. Говорят, в окопы. Там вроде холодно. А нам – тепло. А мы потом по степи, по балкам ходили, искали любую тряпку. Плащ-палатки: юбки шили из них, они, как жесь, гремят. Парашюты находили. Тоже в дело. Подрывались. Феня Арчакова без ноги осталась. А жить надо... Для детей...

– Галчаты... Рты разевают: мамка, дай... А чего я вам дам, мои жалкие? Ни одной коровёнки на хуторе, ни овечки, ни курицы. Попервах конину варили, мёрзлую. Кавалерия здесь была, побилло коней.

– А потом шкуры варили. Мелочко порежешь и варишь. Вроде холодец.

– А без хлебного как?

– Ходили за колосом. Пшеница поосыпалась, она не держит зерна. А у ячменя колос сломится, клонет в землю, а в нём – зернецо. И метёлка у проса... Вот и собираем в сумки, в мешки. Дома шелушим да оббиваем, сушим да в ступе толкём. Вот и хлебное, к желудям добавка. Потом снег упал. А надо идти. Лазишь и лазишь в снегу. А обувка – чирики да поголенки. Намокнешь, замёрзнешь, думаешь: тута лечь да помереть. Лишь детей жалко. До самой весны ходили, пока не открылись бараки.

– Чаканом ещё спасались. Зимой на озёрах разгребаем снег, из грязи корни выкапываем. Потом их сушим, толкём...

– Слава Богу, жёлуди в те годы родились. Джуреки из них – чёрные, сухие, в горле стоят.

– В зиму – так тяжело: пухли и помирали. Потом полегче. Лебеда пойдёт, щавель, скорода, козелик...

– От козелика тоже помирали. Его много нельзя.

– Ракуши из речки. Суслики...

– По тёплому мама аж в Камышин пеше ходила, козу привела. Там немца не было. Ребятишкам... Хоть чуток молока.

— Я, грешная, бывало, слезьми закричу и своего упрекаю, покойного: погиб в минуту – и всё. Лежишь, горя не знаешь. А меня оставил на казню...

– Грешили, грешили... Господи, прости и помилуй рабов Твоих...

Так и двигались от хутора к хутору. Осинов, Зоричев, Тёплый, Евлампиев... Танковое да Солдатское поле, Церковный провал, Чернозубов – от места к месту, объезжая округу. И уже выбирались к Дону. А там и станица была недалеко, а значит, конец пути. Поняв это, мальчик попросил:

– Баба Анеша, давай хоть один разок, напоследок, в степи заночуем. Кашу польскую сварим.

Когда собирались из дома, взяли полевской котёл и припасы, чтобы кулеш варить. Мальчик любил эту нехитрую еду: толчёное сало, толчёный лук да пшено, сваренное на вольном огне. Порой на сенокосе да на рыбалке им баловались. Пахучее хлёбово с дымком – польская каша.

– Давай заночуем, – легко согласилась старая женщина, чтобы мальчонку порадовать и провести последнюю ночь возле покойного мужа, который был где-то рядом. Она это сердцем чувала.

Это был вечер последний в пути, в степи. Остановились у речки, возле Красного яра. Лошадку выпрягли, спутали, пустили пастись. Сварили кулеш и нахлебались досыта.

Солнце опустилось за холмы. От речки и займища потянуло свежестью, но в ясном вечернем небе было светло. Где-то далеко гудел трактор, а потом смолк. Мальчик лежал возле костра и глядел в небо. Летучие мыши раз за разом бесшумно промелькивали над ним. Беззвучный невидимый самолёт чертил ровную розовую полосу в далёком небе.

Баба Анеша, собираясь ко сну, стала творить долгую молитву.

Понемногу смеркалось. Обрезалась округа. В сумерках размывалась степная даль; курганы, увалы, балки словно отступали во тьму, оставляя людям лишь невеликий круг земли с розовым отсветом костра затухающего.

Старая женщина читала молитву всё тише и тише и вдруг запнулась. От высоких обрывистых яров, из гущины приречных кустов, от взгорья напоздали, клубясь, ночные тени. В неверном угасающем свете вдруг почудилось женщине странное. Ей стало казаться, что от земли поднимается что-то живое, но зыбкое. Словно кто-то встаёт и манит её, подзывает. Поддавшись обману, она пошла навстречу в сумеречную тьму и, уже узнавая, стала звать:

– Ва-аня... Ва-аня...

Мальчик ничего не понял. Баба Анеша была почти рядом, но уходила, но звала, но искала его вовсе в другой стороне. Она удалялась всё с тем же зовом ли, стоном:

– Ва-аня... Ва-аня...

Мальчик вскочил на ноги:

– Баба?.. Ты чего?.. Я – здесь, я не уходил куда.

Но баба Анеша, правнука не слыша, глядела и видела иное и всё звала, уходя от костра:

– Ва-аня...

Мальчику стало страшно, но он догнал бабушку:

– Баба... Баба... чего ты? Я здесь. А там никого нет, – говорил он, трогая её за плечо, а потом обнимая. – Я здесь. Я куда не ушёл. А там никого... нет... – закончил он обрывистым шёпотом, поняв, что баба Анеша ищет и зовёт вовсе не его.

– Нету, нету... – ответила старая женщина, в память придя от тепла человеческого. – Испугала тебя, не бойсь... это я – так... – Теперь уже она обнимала мальчика, чуя дрожь и понимая вину свою.

Ночевали в телеге, на сене, накрывшись полстью. Заснули не сразу и спали плохо и потому утром поднялись поздно. Чаю напильсь, помаленьку поехали, выбираясь из просторной речной долины и лишь к полудню одолев долгий вилючий подъём. Вчерашнее не вспоминали, но оно не ушло, оставаясь в душе.

Впереди, и уже недалеко, была станица, пути конец. Стоял солнечный жаркий августовский день на исходе лета. Над сухой каменистой землёй струился горячий воздух. Ленивые вихри порою кружили медленно и пропадали. Слепящие меловые и жёлтой охры глинистые обрывы, рыжие солончаковые плещи, накатанные до блеска дорожные колеи, невспаханые колючие пожни, выгоревшая от летнего зноя трава.

Волна за волной, за валом вал катилось низом, долиной жаркое степное марево. Казалось, что там, вдали, на Солдатском, на Танковом поле, зыбятся пламя и клочкастый дым и что-то живое – люди ли, призраки – движутся, падают и снова встают от земли, за валом – вал, за волной – волна, пропадая в огне и дыму.

Степное марево ли, виденье подступало ближе, и вот уже слышен был нестройный хор людских голосов – крики ли, вопли, гул моторов. Становилось страшно. Но это был просто жаркий день, тряская телега, дремота, степное марево, тяжкий ли морок, виденье после бессонной ночи.

Это было давно, когда он учился в школе, в шестом ли, седьмом классе. Потом бабушка Анеша умерла.

Она умирала не больно ладно: стала забываться, прятала по углам и в постели хлеба куски, складывала сухари в котомку. «Детишкам... – оправдывалась. – Да, да, да... Голодные есть детишки, – уверяла она. – На лебедях сидят, на ракушках. А им хлебного хочется. От желудей у них зубки чёрные... – И вовсе память теряла: – Таечке... Она от хлебного оздоровеет. Нехай пососёт сухарика...»

Таечка, младшая дочь бабы Анешы, умерла в голодный военный год. На кресте, над могилкой, так и было написано: «Таечка».

А теперь, лишь взглянув на карту, приезжими людьми оставленную, и увидев: курган Красный, провал Солдатский, Венцы, хутор Осиновский да урочище Тёпленькое... – сразу всё вспомнил. Лошадка, телега, тёплый август, бабушка Анеша, неспешная езда от хутора к хутору, встречи, разговоры, стариковские слёзы, деревянные кресты, которые ставили порою среди чистого поля. И последнее ночевье, здесь, возле Красного яра.

Всё это вспоминалось, но теперь, в годы взрослые, виделось уже по-другому.

Молчаливая осенняя степь лежала вокруг на многие вёрсты, на десятки вёрст. Самое близкое людское жильё: Сиротинская станица да Голубинская, Верхняя Бузиновка – тридцать да сорок километров в одну сторону да в другую. А между ними лишь этот гурт да два-три чеченских – и всё. Дикое поле.

Воевали... Пятьдесят ли, сто тысяч солдат здесь погибло да умерло, раненых, пленных по лагерям... Наших и немцев. Какие теперь искать могилы и чего их искать, когда всякий раз после хорошего ливня, а уж по весне тем более, на каждом шагу кровенеет стылая ржа осколков, рваного железа, снарядов, гранат и мин, пролежавших в земле полвека, но ещё гожих. Людские кости.

Пятьдесят ли, сто тысяч людей... Это невозможно представить. Людские реки и реки. Сражались и убивали друг друга. И вот она – пустая земля, без людей.

Тысячи, сотни тысяч погибших представить было нельзя. А одного человека? Прадеда, тоже Ивана.

Где-то здесь он погиб, оставив навсегда жену молодую и ребятишек. А может, погиб не сразу. Было много раненых. Старые люди вспоминали, что раненые возле родников сбивались... Набатовские колодезя... Белый родник... Надеялись выжить. А у прадеда – тем более – рядом, рукой подать, дом родной, жена, ребятишки.

В долгом пастушьем дне случалась пора безвременья. Чаше она подступала вечером, когда солнце клонилось к закату. Появлялось какое-то томление в душе, и невольно, сами собой глядели глаза в сторону далёкой станицы, в сторону дома, словно хотели увидеть через много вёрст людей дорогих.

Так бывало в пастушьей жизни. Но эти минуты печали не были горькими, потому что уже недалеко, совсем рядом была встреча. Целую неделю вместе. А потом можно перетерпеть. А потом и вовсе зима.

Теперь, в этот вечерний час, думалось об ином. Прадед Иван, такой же молодой, с такой же душой и сердцем; гимнастёрка, пилотка да сапоги. Эта же степь... Но война.

Молодому пастуху, слава Богу, воевать не пришлось. Но армию отслужил, были ученья с танками, вертолётами. И конечно, при форме: сапоги, гимнастёрка. Оружие и окопы. Взрывы, стрельба. Но всё это, конечно, игра. У прадеда – страшная быль. И смерть, которая навсегда разлучает со всем, что дорого.

Чуял ли он смерть свою, понимал?... Конечно, понимал!.. Такая страсть вокруг, железная злая сила. А что он чуял и что он думал, если успел подумать... Господи...

Молодому пастуху сделалось страшно от одной лишь нелепой мысли, что это он... что именно он может сейчас умереть и ничего, и никого не увидеть больше... И – всему конец. Жизни и белому свету.

Не тёплый степной вей, а стылый ветер ударил, остановив дыханье.

Мудрая старая собака Жулька, неладное почуяв, с визгом кинулась к хозяину, прыгнула на него и, упираясь в грудь передними лапами, пыталась достать лицо и лизнуть. Тузик, немало удивлённый легкомыслием матери, тут же к ней присоединился, боясь опоздать

к весёлой игре. А он-то лапами хозяину до плеч доставал. Повизгивая, лизал горячим розовым языком молодого хозяина.

Молодой пастух с облегчением и благодарностью принял собачью ласку, возвращаясь в нынешний день и свою молодую жизнь, в которой всё было: малая дочка, жена, отец, мать, двоюродные братья – родни полстаницы, а ещё – эта вот золотистая, в уходящем солнце, просторная степь и небо вечеряющее, сегодняшний день, и завтрашний, и тот, который придёт потом; они будут длиться, дни и годы, им не видно конца и края. Не положено видеть в двадцать с немногим лет.

Радость полыхнула в крови. Её было трудно сдержать. Да и зачем...

Молодой пастух, озоруя, принялся играть с Тузиком, убегая от него, прячась в кустах и неожиданно нападая. Человечий смех мешался с собачьим заливистым лаем. А старая Жулька прилегла отдохнуть. Она была мудрой собакой.

Вечерние часы на летнем стойле, у дощатого вагончика возле речки пролетали быстро. Напоить и загнать скотину на баз; кашу собакам сварить и накормить их; свои харчи они заслужили. Проверить, пока светло, невеликие сетчонку да вентери. В глубоких заводях водилась крупная плотва, краснопёрка, окунь да щуки. Проверить снасти и посолить рыбу. От неё тоже пусть невеликие, но деньги для жизни.

А потом уж о себе думать: обмыться ли, искупаться после долгого дня и поужинать. Сентябрь – дело осеннее, темнеет скоро. А когда над вагончиком вспыхивает лампа под жестяным колпаком, тьма вечерняя разом полоняет округу.

В такую пору ужинать лучше возле костра, а не в душном вагончике. Охалка сухой травы и старая телогрейка на земле; сковородка с жарковьем да закипающий чайник на закопчённой, сложенной из камней печурке. Запах еды, травного горячего настоя. Острый дух скотий да степной, который уже по привычке не чувствуешь.

Это люди приезжие, гости, нюхают шумно и хвалят:

– Как хорошо. Какой воздух... Какой запах... Какое место красивое...

Обычно молодой пастух смеялся и говорил:

– Не знаю. Не нюхаем и не видим. Не до этого, надо глядеть за скотиной.

Говорил он правду, но, конечно, не всю. Пастушье дело: скотина, степь, собаки, близкая речка – было по душе ему. Никто не понукает, всё делаешь сам. Конечно, хотелось бы жить рядом с семьёй. Но мало ли чего хочется. Разве лучше работать в отъезде: на вахтах, на железной дороге, в Москве, на стройках и даже на Севере. Там по месяцу, по два семьи не видишь. Колхоз почти развалился, работы нет. Вот и приходится по-всякому.

Конечно, лучше на людях. Когда приезжали порой рыбачить или сено косили родные, жизнь текла веселей. А уж с женою тем более.

После свадьбы целое лето жена с ним подолгу жила. Готовила еду, прибиралась в вагончике. Как хорошо было, как сладко по утрам просыпаться и чувствовать, что не один. И вечерами у костра ужинать. Любить по-молодому, яростно и счастливо, даже в белом дне, среди пахучих, солнцем настоянных трав. Славное было время.

Угревшись, он заснул тут же, возле костра. Потом, уже ночью, перешёл в вагончик.

А утром, на день прежде срока, приехал сменщик. Так бывало при домашних нуждах: днём раньше, днём позже.

Потом, в самом начале дороги, оказался он возле Красных яров, нехотя, каким-то нарочком. Место памятное, с бабой Анешой когда-то здесь крест ставили. А увидел не крест, но горький разор: копаная земля, человечьи кости да черепа. А ругать нужно было лишь самого себя.

В станице, даже не заезжая домой, он подрулил напрямую к двору старого учителя. Прокофий Семёнович снаряжался за шиповником ехать. Потрёпанный «Москвичок» стоял наготове.

– Каждый день с бабкой ездим, – бодро похвалился учитель. – Физкультура. И копеечка, – добавил он тише. – С нашими пенсиями...

Рассказу своего ученика Прокофий Семёнович не больно удивился, лишь переспросил:

– Возле Красных яров? – И попенял: – Ваня, Ваня... не надо было про кресты говорить. Это – волки. Они рыщут и рыщут. А на Красных ярах наши схоронены. Это шакальё соображает. Вскрыли сверху, увидели: наши лежат, поживиться нечем. Это у немцев – золотые зубы да кольца, награды, воинские знаки – значит, добыча. А ещё – медальоны, для опознания. За них из Германии большие деньги платят. Валютой... За эту валюту они всех мёртвых поднимут. Ольге надо сказать, в сельсовете. Я подъеду, настропаю её. Пусть сообщит в военкомат и в милицию. Пусть их проверят. Это – шакальё, со всех сторон лезут. Про кресты не нужно было говорить.

Старый учитель вздыхал, а молодой его собеседник вспомнил давнее:

– Когда-то вы говорили в школе: поставим памятники из бронзы, из мрамора на Солдатском поле, на Танковом.

– Мечтали... Но кто же знал, что доживём до такого? Теперь быстрее бы те деревянные кресты рухнули. Чтобы не было знаку.

На том разговор и кончили. Последние слова учителя молодой пастух понял по-своему – в тот же день, но не сразу. А когда понял, то оседлал мотоцикл и, никому не говоря, поехал тем давним путём, по которому когда-то с бабушкой Анешей почти неделю тряслись в телеге, на лошади. Нынче, на мотоцикле, всё делалось быстро и скоро. Места памятные, ныне пустынные: Ростошь, Осинов лог...

Ехал и находил кресты, что с бабой Анешей ставили. Потемневшие, у земли, в подножье, траченные временем, они ещё стояли: на Набатовских колодезях, на Танковом поле, восьмиконечные, размашистые, видные издалика.

Выламывал их из сухой земли и оставлял где-либо в терновой гущине, в балке. Прятал и ехал дальше. От одного места к другому: Белый родник, Танковое... А когда закончил свои труды, почуял, что ему нехорошо: творил он всё же неладное. Не по себе стало: вроде томилось сердце.

«Господи, прости...» – проговорил он тихо, прощенья прося не у Бога, но у бабушки Анеши, которую долго знал, любил, жалел и сейчас видел её словно воочью. А ещё – у покойного прадеда, который погиб здесь и которого он даже представить не мог, но тоже жалел. Прощенья у них просил и у других убиенных, которые здесь лежат.

Что им памятники, что им венки, что им громкие слова, когда главное отнято – человеческая жизнь.

Пусть лежат, пусть покоятся. Даже деревянный крест им не нужен. Он завтра упадёт – и нет его. Останется лишь трава да вот эта старая узловатая груша, у которой век долог и прочен. И через сто лет она всё так же будет молодеть по весне, нежно зеленея, и зацветёт в свою пору, и прилетят к ней гудливые пчёлы, а по осени лягут на землю жёлтые плоды. Степной коршун будет порою дремать на обсохшей маковке.

А потом и груша умрёт. Останутся лишь степные курганы да небо над ними.

День подошёл к концу. Большое, но уже остывшее жёлтое солнце медленно утопало в далёких холмах.

Последним лучом или его отраженьем в просторном небе восстал над землёй алый высокий крест. Он словно разом вознёсся в полнеба. Поднялся и ярко светил над Солдатским полем, над Танковым, над Набатовскими колодезьями, над Ростошью, над речкой Голубой, над могилами безымянными и над станичным кладбищем, где покоились рядом старая Анеша и маленькая Таечка, над хуторами близкими и далекими – один для всех: для мёртвых и для живых.